

---

## ВАДИМ ДЕМЕНТЬЕВ

### “Дорогой Василий Иванович!..”

#### Письмо Василию Белову

Не так давно мы в Москве получили бандероль из Вологды. Знакомый почерк на конверте, где каждая буква в словах пишется четко и отдельно, словно горошины в стручке. Ну, конечно, это было очередное послание от Василия Ивановича Белова.

В бандероли находилась толстая, времен нашей молодости, тетрадь в клетку в ледериновой обложке и четвертушка сопроводительного письма: “Дорогие Вадим и Капитолина! Как жаль, что я не только не запомнил фамилию этой женщины, но и потерял ее адрес. Высылаю вам всю тетрадь. Она стоит того, чтобы вникнуть и прочесть. В. Белов”.

Мы вникли и поразились рассказу неизвестной корреспондентки писателя, подписавшейся скромно: “Ираида”. Видимо, Василий Иванович посчитал, что не только он один должен его знать. Да и мы решили, отдавая тетрадь в любимый народом журнал “Наш современник”, что пусть этот рассказ о жизни северной женщины узнают как можно больше ценителей живого литературного слова, тем более что журнал недавно открыл новую рубрику “Русские судьбы”. Ведь это и есть прекрасно записанная, почти без помарок, с врожденной крестьянской грамотностью, большая человеческая судьба простой русской женщины преклонных лет, страдальчески тоскующей не только по своим прожитым годам, но и по своей родине, где она и была только счастлива и куда ей некуда возвратиться, не к кому сегодня притутиться, чтобы дожить свой век на родимой земле. Такие материалы — без “литературщины”, живые, пришедшие самотеком, — особо ценил еще А. Т. Твардовский и печатал их в первую очередь.

Но эта записанная в “толстой” тетради исповедь не только ценна своей искренностью и правдивостью, картинами давней и близкой истории крестьянской и колхозной Северной Руси. Главным героем её, пожалуй, является сам адресат — Василий Иванович Белов.

Мало кому нынче так пишут читатели, а уж душу могут излить только ему да еще Валентину Григорьевичу Распутину. Это и есть, говоря высоким слогом, истинная народность наших лучших русских писателей-современников. Понятие это в последние годы изрядно подзабыто, будто и не оно во многом определяло самобытность, реализм и художественную силу отечественной литературы. Не прочитай книги Белова его неизвестная корреспондентка из города Иваново, не восприми всем сердцем его простые и такие чистые слова, особо зримые художественные образы, и вряд ли бы её саму потянуло к перу и бумаге, чтобы ответно поведать писателю о своей судьбе.

Она ведь с ним просто разговаривает, как с родным и самым близким человеком. Помните, в этой связи, в стихах у Николая Рубцова обращения к поэту его земляков: “Скажи, родимый, будет ли война?” или: “Хлеб, родимый, сам себя несет”.

И вот тут возникает вопрос: а так ли важно нам, читателям этого письма-исповеди, знать фамилию и адрес отправителя? Есть, по-моему, нечто символическое в том, что мы их не знаем. Не пишет ли это письмо Василию Ивановичу Белову сама Катерина из “Привычного дела” или неунывающая Параня, она же бабка-колоколёна из одноименного рассказа, воспитывающая семерых, мал мала меньше, внуков?! Не разговаривает ли с ним простодушная Палашка из “Канунов”, или не беседуют ли с автором женские персонажи из народного многоголосья трилогии “Час шестый”?! Талант русского писателя всегда определялся наличием в его книгах, прежде всего, запоминающихся женских образов.

Поэтому исповедь скромной Ираиды Васильевны, при всех её индивидуальных деталях, эпизодах, фактах напоминает во многом и в чем-то главную судьбу матушки Василия Ивановича Анфисы Ивановны, его сестры Александры Ивановны, жены Ольги Сергеевны. Все они вместе прошли годы и десятилетия XX века, революции, бунты... помнят крестьянский лад, взорванный коллективизацией, не забыли и предвоенное десятилетие, страшную годину войны...

Прочитайте внимательно страницы о трагических судьбах их современников и современниц... Услышите, наконец, свидетельства не только о драме коллективизации, но и о счастливой, дружной и зажиточной колхозной жизни в тридцатые годы. И посмотрите на нынешнее время, которое выражено уже самим Василием Беловым всего в двух строчках стихов, обращенных к матери, а значит, и к судьбам её ровесниц, в том числе и к этой неизвестной нам корреспондентке:

Погибает твой давний мучитель,  
Умирает родимый колхоз.

Да и как ему не погибать-умирать, родимому и проклятому, если он, оболганный и разграбленный, лишился всякой перспективы развития, обмелел на людей и исчез, “изнетился”, как изнетилась деревня Каравайка из знаменитого рассказа Белова “За тремя волоками”?! В Харовском районе Вологодской области (родном для Белова) не осталось ни одного коллективного хозяйства. Выморочная, как писали в старину, вотчина. И всё почему? Если в 1990 году расходы государства на сельское хозяйство из могучего союзного бюджета, сравнимого с тогдашним бюджетом США, составляли около 20 процентов, то в 2006 и 2007 годах в бюджете России были заложены на те же цели жалкие 1,03 и 0,74 процента. С этим последним нулём хорошо, конечно, “возродить великую Россию”...

Говорю это ещё и потому, что в присылке беловской бандероли имеется для меня и ещё один смысл. В тех местах, которые вспоминает автор письма к писателю, находились земли знаменитого летописного края, называвшегося в Московском государстве Заозёрьем, о котором я написал книгу. По свидетельству историков, в этих краях и чуть дальше по Кокшеньге находилась в XV—XVII веках вторая после Нижегородско-Муромской житница страны — Заозёрско-Важская. Здесь же и родина Белова Тимониха. Здесь, в Сибле, Астафьев писал свою “Царь-рыбу”. Здесь, в Архангельском, родился Алексей Ганин.

Там, в междуречье Уфтюги, Кубены и Сухоны, располагались не нынешние безлюдные ольхово-березовые перелески и болота с забытыми волоками, а в течение тысячелетия находились обширнейшие крестьянские, до верховьев Ваги, хозяйства. В докончании (договоре) от 19 июня 1447 г. “молодшего брата” князя Михаила Андреевича Верейского с великим князем Василием Васильевичем Темным о разделе между ними земель, отнятых московским правителем у князей Заозерских, говорится: “...дал ми еси в вотчину и в удел половину Заозерья... из своей половины того же Заозерья сто деревень...”. А сколько еще московским князьям заозерских деревень не принад-

лежало!.. Многие еще оставались за ярославскими (как Тимониха) и ростовскими владетельными князьями.

Здесь веками складывался исторический плацдарм для дальнейшего броска русского народа на Урал и в Сибирь, отсюда, в частности, начала формироваться в географическом и в духовном смыслах наша держава. В Каравайках и в Тимонихах веками проживала белая кость русского крестьянства — кормильцы и ратники, мастера на все руки и те, кто позднее осваивал тобольские и омские просторы.

Вот откуда вышел Белов! Вот какая история, почва, какой народ взрастили его талант!

*И светлая взору предстала деревня,  
Живая деревня в краю этом древнем.  
Из сказки забытой, казалось, возник  
Ее отуманенный временем лик, —*

писал побывавший здесь Анатолий Передреев в одном из самых любимых мной стихотворений “Баня Белова”.

Светлым взором смотрит на свою родину в воспоминаниях и неизвестная, но родная для нас, такая знакомая нам по книгам Василия Ивановича Белова женщина.

## ИСПОВЕДЬ ИРАИДЫ

Здравствуйте, уважаемый земляк мой Василий Иванович!

Пишет Вам женщина, проживающая в Ивановской области, родившаяся в 1930 году в Вологодской области, в Усть-Кубинском районе Томашковского сельсовета, в деревне Ермолино. Уехала оттуда в 1946 году.

Давно хотела Вам написать, да смелости не хватало. Думаю, что и без меня у Вас дел много, да и где Вы живёте, в деревне или в Вологде? Но сейчас лето, так думаю, что Вы в Тимонихе. А смелость моя обратиться к Вам откуда взялась?

Так ведь жизнь-то к закату подошла. Моё поколение уходит из жизни. Все мы — дети военных лет, да и после, знавшие одну работу и лишения, все мы с короткой жизнью.

Одна я здесь обосновалась, поговорить-то и то не с кем, а так хочется иногда (да всегда хочется) поговорить о моей милой Родине, о Вологодчине. Прожила я здесь в Ивановской области больше сорока лет, но ни разу и во сне не приснилось ничто здешнее, всё дом и дом вспоминается. Наши деревни, те люди, те места. Моя любовь, моя боль, мои слёзы. Нет уже ничего: нет деревень, нет тех людей. Хочется поклониться каждой травинке дома. Увы! Ведь вот уйдём мы, и всё будет забыто. Говорят, что в Белоруссии такая-то, сожжённая фашистами”. А у нас? Пустыри, кусты, ямы. И кто будет заботиться? У нас-то уж и сил нет. А молодые, эх, горе одно!

Так, Василий Иванович, в моей писанине я, может, буду отвлекаться, то есть “не в ту степь пойду”, Вы уж извините меня. И ещё: прочитайте, прошу Вас, встаю на колени, ведь письмо моё Вас ни к чему не обязывает. Просто мне так хочется с Вами поговорить. Да я и говорю с Вами давно. Хотя бы через Ваши книги. А первая Ваша книга, которую мне привёз из Череповца любезный мой братец Фирс Васильевич, — это “Иду домой”. Давно, давно это было. Потом старалась сама выписать, купить что-то, Вами написанное. Бывая в Иванове, заходила в книжные магазины, ларьки, лотки, везде спрашивала Василия Белова. Так что Ваше есть кое-что, читаю и переречитываю. И каждый раз до слёз щемит сердце. Какое всё родное, близкое, прошедшее через мою жизнь, судьбу!

А иногда такие родные, наши, слова, которые почти забыла, так и вспыхнут в памяти.

Вот, например: “Павел Рогов встретил в районном центре дядю Игната, арестованного “ни за что”. И Микуленок тут подвернулся, дядя Игнат назвал его сатюгом”. Господи, слово-то это я и забыла, не слышала его сто лет. А ведь был у нас в деревне Крюково мужик глупый и ленивый. Санко Никитин по прозвищу Франтов. И был у него сын Серёжа, мальчик умный, хороший. Так этот Санко Франтов всегда хвалился: “Вот у меня Серёжка, так такой сатюг-проворко, как и я”, — и все над ним смеялись...

Василий Иванович, а можно я с Вами поговорю о своей земле, о землячках, о том, что было давно, может, даже до революции. Со слов тёток, мамы, что осталось крепко в моей памяти, про наши места, деревни, а их-то уже и нет. Из своих родных помню только деда Александра Горюшкина, он жил дальше всех, умер в войну с голоду. Бабушек не помню совсем и деда Ивана Королёва не помню, они умерли в первые годы советской власти.

Вообще-то помню себя с трёх лет, это уж точно. Брат Фирс моложе меня на три года, а я помню, как мама его рожала за печкой. У нас сидела бабушка Глафира — тетья мамы, я просила есть, капризничала, бабушка подавала мне молока и пирога, а я не брала, руки у бабушки были после ожога, и мне было страшно.

Василий Иванович, так я начинаю вспоминать, можно? А может, Вам совсем неинтересно, извините. Но я ещё раз пропущу всё это через себя уже на бумаге.

Сначала о земле, ведь на свете всё от земли и от Бога.

#### Родом с Томаши...

Районный центр наш Устье-Кубинское. В былые времена посёлок сплошь деревянный. Только в центре было несколько купеческих домов с кирпичными первыми этажами. Было много лавок, частые ярмарки, торги. А место такое красивое, а Кубина? А рыбы-то всякой в лавках было! Ещё в 50-е годы был там рыболовецкий колхоз. Сейчас — не знаю. А в 51-м году ехали мы с мужем в гости к маме и зашли в Устье в рыбный магазин.

Муж мой аж остолбенел от чуда. В продаже было сортов 15 всевозможной рыбы. Большие рыбины висели на скобах от потолка до пола. Богатый был посёлок в своё время. Во время моей учёбы в десятилетке (это 45—46 гг.) было там три церкви, все закрытые, одна церковь Рождества Богородицы была в Чиркове, на другом берегу Кубины, думаю, что она всегда работала, побывала я там в 70-е годы, но об этом потом, ладно?

Василий Иванович, а слышали ли Вы, что такое Томашь?

А Томашь — это речка, жива ли она теперь? Во время моего детства речка широкая, чистая, с заводями и бочагами, с глубокими местами и мелкими переездами, в половодье затоплявшая дуга, с грохотом ломающая лёд, сносящая мосты и лавы, с множеством мельниц. В ледоход мужики со всех деревень бежали с жердями и ломами спасать мельничные запруды. Так Томашь как раз пополам разделяет нашу волость, начинается она где-то в лесу на севере и впадает в реку Кихть, а Кихть в Кубину. А Кихть уже река побольше Томаши, хотя по ней паромы и даже лодки не ходят, но на карте Вологодской области она помечена. По названию Томаши и наш сельсовет Томашский с центром в деревне Королиха (тоже есть на карте Вологодской области).

И если спросить моего земляка, жившего в Вологде, Соколе, Харовской, откуда он, то он ответит: “С Томаши”. Не из Томаши, а с Томаши, то есть с берегов моей милой речки. Эх, и половили же мы рыбки в Томаши. В бочагах, в норах жили налимы, большие, чёрные.

Мальчишки ныряли, совали руки в норы, ловок был норить налимов брат мой старший, Василий. Вынырнет, бывало, а в руке плещется, вьётся налимище. А пескари под корягами и в траве, щуки в осоке, в лопухах. Этих ловили решетом. Подставишь к осоке решето, а одной ногой толк-толк —

рыбину загоняешь. Выхватишь из воды решето, а там щука, тут уж не поспай, кидай быстрее решето с щукой на берег, а то была она и тут же выскочила обратно в воду. А во время сенокосов подойдешь к речке умыться и попить, а там и воды не видать, идут косяки мелкой рыбёшки — малявок. Тут бабы снимают платки, а то и юбки, рыбок только черпай да уху потом вари. И было за нашей деревней глубокое плёсо, купали там лошадей, было плёсо, называлось Портомой. Было мелкое место с быстрой водой и с плоскими камнями, на которых колотили бельё. А повыше этих камней было место, где водились ерши. Их тоже иногда удавалось выловить решетом. А по ночам мужики ходили ловить рыбу со смольём. По весне ставили верши, делали запруды. Вот уж дедушка Александр половил вершами рыбки!

На лето, бывало, бочоночек засолит. А по берегам Томаша луга, а в лугах тоже бочаги с рыбой, а кувшинки белые, жёлтые, да трудно их достать, очень тошко, доставали всё же, делали бусы из них.

А на Кихть ходили ловить рыбу сетью, куретником её называли, особенно на праздники ловили рыбу на рыбники, пироги такие. Со всех сторон наша Томашская волость лесами окружена.

На северо-западе вёрстах в 30 — Харовская, столько же вёрст до Морженги. Лес вёрст 10 тянется до деревни Колыбаниха, это Грибцовский сельсовет. Село Грибцово на берегу Кубины, на самом высоком месте — храм, разрушенный наполовину.

А Колыбаниха на опушке леса, как к нам на Томашь идти.

*Гуси-лебеди летели,  
Колыбаниху задели.  
Колыбанинский мужик  
Бабу рыбником зашиб.*

Была в нашу деревню из Колыбанихи высватана Матряха за двоюродного брата моего дедушки Африкана Горушкина, хорошая была баба, работящая, но бездетная. В войну племянник выгнал её из дому, ушла в Сокол, жила в няньках у какого-то начальника, те её любили и держали до смерти у себя в доме. На юге от нас лес до Никольского, тоже вёрст двенадцать. Никольское это Усть-Кубинского района. На юго-востоке лес, вёрст десять до села Заднее. В ясные дни поглядишь, бывало, со своего второго этажа в сторону Заднего, а там сияет за лесом на горе белая-белая церковь Троицы. Ну а на севере, северо-западе — леса, леса, глухие, тёмные. Говорили у нас, что они в революцию в эти леса ушли люди, что живут они там своей общиной, что они из леса не выходят и с миром не общаются. Может, и правда. А и богата же наша волость была до революции, да и после до Великой Отечественной войны тоже жили небедно.

А о богатстве можно было судить по церквам. Были в волости одни деревни, села не было ни одного. Но деревни были очень частые, вот, к примеру: Ермолино и Лобаново разделяли только два овина. Но было три церкви, а церкви, я думаю, содержал народ, прихожане. Наша приходская церковь во имя Введенья во храм Пресвятой Богородицы стояла на горе, недалеко от Королихи, церковь во имя Благовещенья Пресвятой Богородицы — на другой стороне Королихи за Томашью, а ниже по течению на горе же была за рекой церковь Георгия Победоносца. Мама мне говорила, что в Егорьевском приходе в лесах змеи не водятся, их Егорий победил, и народ в лес ходит, не опасаясь, босиком. Змеи там завелись, как церковь разорили.

Помню, мама меня водила к Введенью причащаться. А было мне года 4—5. В 36-м году все церкви закрыли, священников, прислужников арестовали, всё разорили. Колокола скинули и куда-то увезли. В нашей церкви был клуб, потом склад, потом на её фундаменте построили мастерские, как только её разбирали, взрывали, наверно. Но по фундаменту церкви и теперь можно определить, где были могилы родных: дедов, бабушек, отца, братьев.

А Благовещенская стоит, полуразрушенное кладбище теперь там. И школы у Благовещенья, были они и до революции там. Вообще-то, насколько я себя помню, в наших деревнях все мужчины были грамотными, женщины

все неграмотные, за редким исключением. Даже в семье моего зажиточного деда по маме из четырех его дочерей была грамотной, то есть умела читать и писать, но ни одной книги не прочитавшая, тётя Александра, старшая из сестёр. Зато все женщины поголовно умели ткать, в каждом доме были кросны, все умели плести кружева, плетением занимались всё свободное от полевых работ время. Какая уж тут школа, да и не очень-то в ней была нужда.

А ещё о богатстве и благополучии нашей волости могу судить по мельницам. На Томаши их стояло шесть штук, да на Кихти мельница моего деда, куда возили хлеб для размола и с Никольской волости. Да, ветрянка за нашей деревней. Было же чего молотить. В каждом доме лари и сусеки были полны муки. Тут и ржаная, и ячневая, и пшеничная, и овсяная, и гороховая. Помню, не любила я лепёшки гороховые, а есть заставляли.

А дома-то в наших деревнях, Василий Иванович, всё большие, двухэтажные, двор тоже в два этажа. На дворе внизу хлева утеплённые для овец, телят. Вверху разные кладовки. Место для сена. В нижней избе жили зимой, вверху — летом. Чистота и красота кругом. Многие дома были обиты тёсом, но вот крыши у всех были тесовые. Вот в деревне Кузьминское были дома и под железом, и была там ещё часовня. Училась я там в начальной школе. И стояло в ней домов десять пустых, высланные были хозяева-труженики. Были в Кузьминском лавочники, портные, сапожники, кузнецы, их выслали куда-то. Некоторые уехали с семьями вместе. Но запомнились мне две семьи, а жили они в банях, кое-как приспособленных для жилья. Смирновы — мать и трое детей: младший Саша сидел со мной за одной партой, и Архиповы — мать и четверо детей, старшая Люба была на год меня постарше, а был 37-й год.

Рядом же стояли их двухэтажные добротные, опустошённые, крашенные, под железом, с множеством комнат и пристроек, пустые дома. Но, о Господи, не тронь! В 60-е годы, побывав на родине, я узнала, что все дома отданы старым хозяевам. Но жить-то уже в них было некому. У Смирновых остался один Саша, да и тот вскоре умер. Архиповы же все умерли в войну с голода.

Каждый же мужик в волости кроме того, что работал на земле, имел ещё какую-то специальность, а то и не одну. Плотники, столяры, сапожники, валяльщики, кузнецы, портные. В зимнее время собирались артелями и шли “в работу”. Приходили с деньгами, с гостинцами. Отец мой умел хорошо сапожничать, храню, как реликвию, его красный сундучок, с ним он “в работу” ходил. У мужа там теперь разные рыболовные снасти. Хорошо, добро жили до Советов.

Справляли праздники, трудились не покладая рук. Муж и жена уважали друг друга, я не помню, не видела ни разу, чтоб муж на жену поднял кулак, также и не видела, чтоб в обществе муж обнял или же поцеловал жену или подружку дружка. И разводов не было, конечно, даже не знали, что это такое. Не то что теперь. Глядишь, пара идёт, обнимаются, целуются, висят, как собаки, друг на друге — любовь. А через месяц разбежались — нет любви.

Все девушки в волости считались скромными, работающими были, в отличие от Заднеселья.

Почему-то заднесёлы все считались драчунами, а девушки ветреницами, редко брали замуж невест оттуда. Но деду моему, Ивану Королёву, так и выпала доля жениться в Заднеселье. Но это потом опишу, хорошо?

Но Советы пришли. Стали выселять тружеников, пустели дома, деревни.

Кто-то успевал уехать в город сам, кого-то увозили.

Если бы спросить людей в те годы, да и в послевоенные наши лихие годы, в Сорале, в Вологде реже, в Харовской, Морженге, Устье, наверно, каждый третий — житель с Томаши.

### Колхоз наш до войны был богатым...

Деревня наша Ермолино была небольшая, всего 12 домов. И находилась она около леса, на юге нашей волости, так что если приходилось идти в Харовскую, то по своей Томаши надо было протопать вёрст десять. Рядом Ло-

баново, одна бригада. Лобаново раза в три побольше, на пригорке, а мы под горкой. Оттого и сидели частенько без картошки в дождливые годы. А на Лобанове картошку сажали на горе, в песке, в навозе, всегда был урожай. Так вот и в колхозе жили тоже хорошо до войны.

Колхоз наш назывался “Новая деревня”. И было в нём четыре маленьких деревни и две большие: Кузьминское, домов больше ста, и Матвеево такое же. Кузьминское стояло на большой дороге Никольское — Королиха, а Матвеево — на дороге Заднее — Королиха. Что теперь осталось? Разве что в Кузьминском дома четыре с жителями. И был до войны в колхозе бессменный председатель Мухин, родом из Кузьминского. Братья Мухины занимались высылкой богатых мужиков, за что и утопили одного из них в Кихти, плёсо так и называется теперь Мухино плёсо.

Потому и побаивался мужиков Мухин, председатель, не очень-то притеснял, вёл хозяйство разумно! Да и народ был трудолюбив, старателен.

Ах, до чего же богат был колхоз! В каждой бригаде были свои конюшни на 15—20 лошадей, коровники голов на пятьдесят, телятники. В Матвееве была ещё и овчарня. А в Кузьминском конеферма, там лошадей разводили, уж такие были перед войной рысаки, продавали их на сторону. В деревне Мальхово был курятник. А в нашей бригаде были выстроены перед войной новые светлые скотные дворы, ко дворам были пристроены избы-сторожки с печами, котлами, и колодец был в этой избе. Коровы стояли на полу, у каждой своя кормушка, навоз сгребали в лотки, а между лотками деревянный настил, по нему можно было ездить на телеге или дровнях, чистить у коров.

А телятник новый с такой же избой-сторожкой, с тремя отделениями для телят. В первом отделении жили новорожденные телятки, там и печи топили для обогрева зимой. Отдельные клеточки были, все белые, крашенные, чистые. А ещё отделение с телятами побольше, а ещё уж и с телятами совсем большими. А ещё перед войной в колхозе был выстроен льнозаводик, и были в нём трепальные машины. Всё было сделано, построено своими золотыми умельцами. Только трепальные машины привозные. Так что и лён, уже трепальный, продавали, сдавали государству, возили на Морженгу, а там и в Вологду. Да и у колхозников был лён, пряди да тки, не ленись. Льном засеивали большие поля, а уж когда его дёргать время приходило, то всё женское население, от малых и до старых, всё во льнах. И всё ручками, ручками и согнувшись. Спина болела, а руки? Руки были — ладони зелёные, полосатые от стеблей льна и долго ещё не отмывались потом. А ещё у нас в колхозе сеяли много клевера, он считался лучшим кормом для лошадей. Так уж такая была красота в полях! Поле льняное, голубое-голубое во время цветения. Поле клеверное розовое, алое. И сеяли другое жито всевозможное: горох, рожь, пшеницу, ячмень, овёс, были большие картофельные поля. А пшеницу сеяли после клевера на той земле.

Помню, году в 42-м, наверно, уж такая выросла пшеница, не ниже ржи. И что это был за сорт такой? и есть ли он сейчас? На каждом стебле было по несколько крупных колосков без остей. Золотая была пшеница: сжали её, обмолотили, увезли, нам досталось только собрать редкие колоски. И сгорела она, наверно, в огне войны, как и всё другое. Всё земля родила хорошо, была унавожена земля, не знала она, матушка, никаких удобрений, кроме навоза. А уж навоза-то было очень много, ведь столько было скота в колхозе, да и у колхозников на дворах у всех было по одной корове, телёнок, стадо овец, куры.

Помню, отец наш незадолго до смерти своей в 37-м году привёз откуда-то белых овец. Потом сваял себе валенки — белые, длинные, носил с загибом. А поля-то были большие, неоглядные, даже в лесу были полосы, и там хлеб сеяли, и всё делалось на лошадаках да ручками своими, с охотой и любовью.

А уж когда с государством рассчитается колхоз, то тут и подводки едут по дворам, везут заработанное самим колхозникам. Тут и жито всякое, и картошка, и капуста, и масло льняное. А в соседнем колхозе был льнозавод по выработке масла. А масло душистое, вкусное. Как-то лет десять назад привезли в наш магазин льняное масло. От дёгтя его отличить было трудно.

А тогда? Платили налоги стране, да и себе много оставалось, жили — не тужили. Мужики зимой уходили по очереди на лесозаготовки, весной на сплав леса, но это было совсем неподневно, даже охотно шли некоторые, тут и заработок опять, деньги. Да и мужиков-то было много: в каждом доме по 3—4 мужика, семьи большие, дружные.

И ещё у каждого дома в деревнях был овин, где хлеб молотили цепями. Бывало, проснёмся поутру рано, а по всей деревне: тук-тук. Была и конная молотилка в бригаде, но и цепями молотили. И были у домов бани, все они топились по-чёрному, и были у всех амбары под хлеб. А ещё была у нас в бригаде льноколотилка, сконструированная своим умельцем кузнецом Исаковым. И были конные приводы, а уж лошадок запрягать и погонять — это наше дело, ребячье.

Первый трактор проехал по деревне году в 36-м, наверно. Бежали мы за ним долго, а потом измеряли пальцами глубину от колёсных зубьев на дороге.

Когда весенний сев, сенокос, уборка хлеба, то в колхозе устраивались общие обеды. Забывали корову колхозную, хлеб пекли, щи варили, обедали все вместе, то-то было хорошо и любо всем. А в сенокос мужики надевали новые рубахи, бабы доставали из сундуков новые расшитые исподки, уходили на сенокос по берегам Томаши и дальше, на Кихть. Сеном загружали сеновалы там же, а стогов-то, бывало, столько наставят, что хватало колхозной и своей скотине. Да, чуть не забыла: была ещё в нашей бригаде пасака, ею занимался на Бобанове Исаков, и стояла она в саду моего дедушки Ивана Королёва. А ведь и детские ясли были в колхозе, в деревне Лобаново, в доме на горе, принадлежавшем когда-то портному Трифонову. И мы с братом Фирсом посещали эти ясли. Так что же плохого, Василий Иванович, находят теперь в колхозах, назад-то поглядели бы да опомнились бы, эх, люди, люди...

А лес вокруг колхоза нашего был весь молодой, старый-то лес был уже за Кихтью. И, похоже, было время, что и леса не было этого молодого, ведь попадались в лесу такие места, где, видно, люди жили недавно. Недалеко от нашей деревни, в лесу болото было голубичное, а посреди его горушка, а там ямы, черепки, гряды, как будто борозды старые. Встречались и развалины каких-то строений, а то ещё и лес сосновый, молодой, будто на грядках растёт. И откуда эти названья? Гора Причениха... Гора Степанская. Ковпаки. В детстве не задумывались спросить об этом стариков, а в войну и старики все с голоду поумирали. Так и осталось всё тайной. Однажды в засушливое лето забрались мы, дети, совсем в недоступное место и нашли на крутом берегу Кихти выступающий сруб, брёвна. Как будто там был дом. Куда исчезли люди из тех мест? Вот и мы так же исчезли, разбрелись, разъехались, и та же участь ожидает наши родные места.

### Война проклятая...

А вот и война грянула, и пошли, поехали мужики на войну в сторону Заднего, к Устью. Вот горя-то было, Господи. Осталось у нас в деревне четыре старика, бабы да ребятишки. А тут и похоронки пошли. Стон и слёзы. А работать-то надо. А председатель-то Мухин с бронью, озверел человек, как подменили его. Ездил из деревни в деревню на своей рысачке Мазурке с плёткой в руке. Старых и малых гнал на работу, бывало, печи заливал водой, топить не давал. А людям-то хлеба нет, одни трудодни, всё надо до крошки сдать государству. Погнали в армию лошадей с фермы табунами, коров табунами гнали. Хлеба едва хватало на семена. Пасаку продали, льнозавод развалили, ясли закрыли. Пошёл мор по волости, люди валились с голоду.

А председатель из кожи вон лез перед всякими уполномоченными и выжимал из людей последнее.

Открывались сундуки и коробки, доставались пальто и шубы бархатные, плюшевые, полотенца расшитые, кружевные, пары кашемировые и шёлковые, исподки расшитые, холсты, платки и шали. Словом — всё, что от бабушек и прабабушек ещё хранилось и приумножалось в хорошие времена.

Ездили с саночками в соседние волости в надежде что-нибудь выменять



съестное, но и там было не лучше. А сколько было продано кожи выделанной, вытяжек из кожи на сапоги. До войны-то в каждом доме стоял бочонок, где дубили кожу. Все у нас до войны ходили в кожаной обуви, не знали, что такое резина. Была скотина, была кожа, были сапожники свои.

А тут остались босы и наги и еле живы. Дети худые и бледные, бабы с опухшими ногами и раздутыми животами от травяных лепёшек. Уж какой только травки не поели в войну. И лебеду, и молочай, подорожник, репей, щавель, дягиль, да всего и не перечислить. А уж когда клевер зацвел, то с корзинами ходили рвать головки. Сушили, толкли в ступах. Появились давно забытые ступы с пестами, жернова. Лепёшки из травы черны и несъедобны были, скотина их не брала. Но надо было чем-то наполнять вечно голодный желудок. В картошку или в молоко тоже клали толчёную травяную, чтоб подольше растянуть всего. А тут корову нашу убил председатель. Забралась она в овин, а он её ударил колом да по селезёнке попал, пришлось прирезать корову, без кормилицы остались. Но трава-то летом, а там и ягоды, грибы и картошка поспевают — оживали после зимы. Да в школе половник мучного киселя давали, тётя Александра когда кусочек подсунет, они-то не голодали, а обогащались.

Дядя Александр с детства инвалид был, горбун. Работал в колхозе бригадиром, хлеб у них был.

Старики все умерли, малые дети тоже. Война кончилась, а там ещё голоднее стало. С войны-то и приходиться домой некому, кто убит, кто без вести пропал. Из двух деревень вернулись только три мужика: мой дядя Александр, брат отца, да на Лобанове Пролетов и Богданов.

Дядя тут же подался с семьёй в село Заднее, в МТС кузнецом, а потом и в Устье приехал. Пролетова арестовали ни за что, и он в тюрьме погиб, а мужик был прекрасный. Богданов же с семьёй, то есть с двумя дочерьми (мать, жена и дочь умерли с голоду), уехал жить в Харовскую. А не уехал, так и его бы Мухин загнал в тюрьму. Вот ведь откуда и бралась в человеке такая злоба звериная на слабых, невинных людей. Бывало, выползем мы, дети, в поле рвать клевер на еду, а он на своей Мазурке гарцует тут как тут. Травы-то было жаль. Налетит, собьёт лошадью и корзину с травой растопчет. Люди всеми правдами и неправдами побежали из деревень. Жить стало совсем нечем. Душили налоги, за налоги отбирали последнее.

Ох, Василий Иванович, всё это вы знаете не хуже, чем я.

### В довоенные годы вернуться хочется...

Уходил народ, исчезали деревни. Умер и наш Мухин, а после него, сколько их, председателей колхоза, было, всё доразвалили. Школа в Кузьминском закрылась. Была я на Родине в 72-м году, а там брат двоюродный Сергей и говорит: “Оживаем, Рая, ферму в Крюкове восстановили, жена, Густя, при деле — доит, я на тракторе, сыновья тоже со мной. Председателем теперь твой одноклассник Кочнев из Ананьихи, мужик свой, старательный, дорогу до Королихи поправили, дела пойдут”.

В 80-м году Сергей уже в Королиху переехал. “Кочнева-то, говорит, от нас давно увели в отстающий колхоз, в Никольский сельсовет, так у нас и ферму закрыли, и магазин. Густе два года до пенсии, а работы нет, пришлось бежать из Крюкова. Плакали, жалели Кочнева, да и он там, видно, плачет”.

Вот такие дела, Василий Иванович. Так откуда же у нас изобилие? Всё загважено, запущено. Что наш бывший колхоз? Песчинка в море. Может, и лучшее что-то где-то было?

Для меня лучшего не было. И кажется, после моего отъезда с Родины не было в моей жизни и светлого дня. Василий Иванович, вот про войну писала, да опять назад вернуться хочется в те довоенные счастливые годы.

Вспоминаю, как справляли в деревнях престольные праздники. Зимой у нас три дня праздновали Введение. Эх, и весёлое же было гуляние. Почти во всех домах пляски, гости, застолье. Из Вологды, Сокола, Харовской приезжали родные, изо всех окрестных деревень. Столы ломились от пирогов,

рыбников, но такой пьяни, как теперь, не бывало. Летом Петров день праздновали. Опять гости, застолье, пляски до утра. А зимой-то в Масленицу катались по деревням в санях крашенных, ещё дедовских, а мы бежали за саними да старались встать на запятки. Перед Масленицей собирали ребятишки по всей деревне ненужный хлам: корзины, пестери, санки, веники, кто чего даст, а в Масленицу вечером Масленку. На высокий кол надевали корзину, чтоб горела, и было далеко видно, а вокруг кола складывали всё остальное и поджигали, а пока горело, все пели песни и веселились. И было видно, как горят Масленки и в Никольском, и в Заднем.

А ещё, Василий Иванович, было в нашей Томаши такое местечко. Называлось оно Лединка. Расположено оно было между деревней Останково и Введенской церковью. Стоял большой дом с множеством комнат, овин и баня, амбары. И была там больница. И до революции она была и после, до войны.

Помню врача, он все болезни лечил, и его жену Елизавету Ивановну, акушерку, большую, костлявую, в очках. Прямо как по Чехову. Но самое примечательное там было — огромный сад. Был он обнесён высоченным забором, и в саду было много яблоней, и не в загороди; их сажали благодарные жители Томаши, и все знали, где чья яблоня. Три яблони были посажены моим дедом Иваном Королёвым. Ещё у больницы росли липы. И росла в углу сада огромная ель. Ах, что это была за ель такая, она ведь цвела! Может, и есть много сортов ели на свете, но такой ели я в жизни больше не видела. В мае-месяце начинали на ней появляться зелёные маленькие шишечки, из зелёных они делались ярко-синими, розовыми, голубыми, алыми, красными, блестели, переливались всеми цветами радуги сантиметров до четырёх в длину. Так цвела эта ель недели три. Потом шишечки все зеленели. Бывало, мы с подружкой ходили в школу к Благовещенью мимо этой ели, запах стоял медовый. Мы рвали веточки на букет, руки были все в смоле. Нет ни лип, ни ели, ни больницы, тем более сада. А в праздник Спаса, бывало, из этого сада около церкви стояли корзины с яблоками, да не только корзины, телеги даже, брали яблоки, кто хотел.

После революции была у нас школа в колхозе, в деревне Кузьминское, четырёхклассная. Да ведь тогда и образование было четырёхклассное. А семилетка была у Благовещенья, это версты четыре от нашей деревни, а зимой надо было ходить в обход, через деревни, это вёрст пять.

У Благовещенья стояло домов восемь, всё старые, добротные, дореволюционные. В трёх домах были школы, были они и до революции, там и мой отец когда-то кончил три класса.

В других домах жили священнослужители, волостное начальство. И там тоже был сад, и была там за садом горюшка одна примечательная: росло там чудо такое — молодило. Когда-то оно было нарисовано в учебнике по ботанике за 6-й класс. Такого растения я тоже больше в жизни не встречала нигде. Леса-то у нас большинство хвойные — ель, сосна. А рыжиков-то сколько растёт! И всяких всевозможных грибов. А вокруг деревень молодой лесок, а там черёмуха, рябина, осинки, берёзки, ольха. Нет у нас дубков, клёна, липы, орешника — этого нет. А по опушкам купальницы, мак лесной, а по-нашему коконьки, да такие крупные, душистые, самый любимый мой цветок. А в августе сорвёшь, бывало, отцветшую головку коконьки — на ладошке зёрнышки маковые и букашки всякие ползают. Сдуешь букашек, а зёрнышки в рот — вкуснота. А по лугам огромные ромашки, а в канавках голубеют крупные незабудки, а колокольчики голубые, бордовые, да разве можно всё перечислить. По убраным лугам и полям ходил скот до осени, ещё бы плохо было, земля была удобрена везде. Что-то там теперь? А шиповник-то в лесочке рос такой сладкий, ягоды длинные и почти без зёрнышек. Километрах в двух болотце небольшое, там голубика, брусника, морошка, по краям болотца клюква. А за Кихтью большое болото Бабичево. Туда-то собирались всем колхозом с лошадками, с телегами. Из других колхозов и из Никольского туда тоже ходили по ягоды. И по весне из-под снега собирали клюкву и бруснику. А игры у нас какие были интересные. Главное — лапта. Приходит скотина из покотины, загонишь во двор — свобода ребятишкам. Пока светло на улице, всё играли в лапту, тринадцать палочек, ухоронки, уголки, ручеёк.

А зимы-то какие были снежные, теперь всё не то. Утром ворота на улице открывать, а и свету не видно, замело. Вот и пробиваемся сквозь сугроб на улицу. А там такие сугробы наметёт да наставит поперёк дорог, что на санках с них можно кататься. А между деревнями по дорогам ставили вехи, чтоб с дороги не сбиться. А насты по весне такие крепкие, что воз с дровами поднимало. И ещё в сугробах около овинов куропатки ночевали. Прилетят они из лесу покормиться да залезут в сугроб ночевать, а мальчишки ловили их руками. А весной глухари токуют — слышать в деревне. Ходили мужики на тока, ловили их силками, ружей-то ни у кого не было в то время. Пришлось как-то нам с мужем в конце марта, году так в 56-м, идти от Харовской пешком, нужно было как-то переправить парализованную маму к нам в Ивановскую. И только прошли волок от Колыбанихи до Томаши, а было дело на зорьке. Выходим на опушку леса, а муж и говорит: “Эх, сколько грачей-то на деревьях, да вроде больно рано им ещё прилететь-то”. А я гляжу, а это глухари, да так много-много, чёрно от них, прямо чудо. Идём под деревьями, а они нас и не боятся совсем.

А ещё как-то ехали мы в гости году, наверно, в 72-м. Засуха была страшная. У нас, в Ивановской области, горели леса, и картошка уродилась мелкая, как виноград. Так от Вологды ехали автобусом до Сокола, а там автобусом до Высоковской Запани, что на Кубине, а там до нас километров 45, добирайся, как повезёт.

Так вот, приехали через Кубину на пароме (теперь-то тут мост прекрасный) и стали ждать какой-нибудь оказии. Жара стояла страшная, Кубина обмелела, брёвна лежат по всей реке. Я пошла к реке умыться. Гляжу, а там около каждого бревна лежат чёрные рыбины — большие и маленькие, налимы, все от жары в спячке, еле живы. Бери голыми руками, хоть воз набрать можно. Ходят местные мальчишки и выбирают, что покрупнее, поросят кормить. И где это ещё увидишь, Василий Иванович, если не у нас на Вологодчине.

А поросят-то до самой войны у нас и не держали, и моды на них не было. Скотины много держали, но не очень-то шикарничали, чтоб мясо есть ежедневно. Заколот, бывало, телёнка, барашка на зиму. Да ведь и денежку надо было откуда-то добыть. Одеться, обуться надо, строиться надо.

Да ведь только было попомнились после революции, а тут и 30-е годы. Опять бедняги мужики загремели ни за что. От нас через дом жила семья Пахомовых. Молодые муж с женой Акиндиной и Анна и трое детей. А дело было в Первомайские праздники в Королихе. Киня-то выпил, да и рассыпал из кошелька мелочь на крыльце у сельсовета, говорит: “Девки, собирайте, власть Советов богатая, мне ещё даст”. И загремел на пять лет. Вышел в 42-м весной, и так уж он торопился, трудился день и ночь, ровно и не спал совсем. За два месяца построил новую зимовку, сам кирпичи обжигал на печку, печку сложил, а тут его и взяли в армию, на том и конец.

А ещё была у нас в деревне женщина Помиранья Елтишифоровна, все её Елишной звали, а приходилась она моему деду Александру Горужкину снохой, то есть была женой его брата, и жили они по соседству. Так они в колхоз нипочём не хотели вступать. Мужа у неё арестовали за это, скот отобрали, сыновья в Сокол подались, и осталась она с двумя девочками одна, без клочка земли, без права рубить дрова, и всё ходили и агитировали её вступить в колхоз. Но женщина оказалась с норовом, с твёрдым духом, терпела лишения, а в колхоз так и не вступила до самой смерти, в 40-м году. Дочери уж после её смерти стали колхозницами.

Ах, кабы не было войны...

## Родня

Люди в войну будто переродились, надо было как-то выживать, как-то спастись от голодной смерти. На домах появились замки, запоры.

Подозрительные стали все, злые. Дальше — больше, хуже и хуже. Что на нас нашло? Иногда и теперь ловлю себя на мысли, что и в Бога-то верю

плохо и молось-то неискренне, грешница. Хотя вроде бы и грехи-то у меня небольшие, да ведь не святая, и есть за что меня Богу наказать. Господи, накажи меня, но детей моих пощади, помоги им, Господи, вразуми и научи, помилуй нас, Господи.

Куда нас несёт, Господи?

Василий Иванович, а теперь я с Вами поговорю о своих родных, близких мне людях, а Вы вольны, конечно, слушать — не слушать меня, бросить блокнот в печку — воля Ваша.

Сначала о дедушке и бабушке со стороны мамы, то есть об Иване и Манефе Королёвых из деревни Лобаново.

Немного помню и о прабабушке Орине со слов мамы, её все любили, и дедушка называл её не иначе, как мамаша и матушка.

Дедушка в своё время долго был в солдатах, и за это его ещё называли в деревне Иван-солдат. Невесту же ему сосватали из Заднесельщины из деревни Сидоровское. Дедушка всю свою жизнь работал не покладая рук на земле, корчевал лес под посев, имел много скота, построил мельницу, небольшую булочную, пёк крендели. Была лошадь выездная, две рабочие лошади, три коровы, много овец, кур, уток. И ещё богатство дедушки умножилось после смерти зятя, то есть мужа сестры Глафиры, который был каким-то волостным начальником. Перед революцией дети все были уже взрослые: четыре дочери и сын Василий. Все трудились, без дела не сидели, по зимам ткали и плели кружева. Бабушка Манефа вела дома хозяйство, но был в ней и недостаток, по словам мамы. Она была из Заднеселья, с ветреной стороны. Бабушка постоянно грызла сахар и нюхала табак, да ещё и выпить была не дура. Однажды в Масленицу, подавая гостям поднос с рыбниками, уронила его на пол. Но дедушка своего недовольства при людях или при детях никогда не проявлял. Да ещё, видно, и погуливала малость, известно, что где вино, там и гульба.

Мама моя один раз увидела свою мать с Алёшкой Платоновым за поленницей, и с этого времени они друг друга не любили, отношения между матерью и дочерью были испорчены.

А этот Алёшка Платонов был, оказывается, большой проказник, в деревне девки и бабы его боялись (вот ведь и раньше были уроды). И нашёл себе смерть, когда пришёл в дом Ильи Пушкина, когда тот уехал по дрова в лес. Жена Пушкина Анна билась в руках Алёшки, и Илья, недолго думая, разрубил Алёшке голову топором.

Так что мама, иногда вспоминая свою мать, говорила, что если бы она была поумнее, то они бы жили ещё богаче. Дедушка нанимал во время страды всегда одного одинокого мужчину в помощь, кормил, одевал его и даже выстроил ему избу. Вот из-за этого-то работника дедушку и раскулачили. Мама и старшая сестра её Александра были уже замужем, сестра Мария умерла. Сына Василия дедушка от беды отправил искать долю в Архангельск. Поехал Василий туда с другом и с сундучком, да не с пустым кошельком.

Через месяц друг приехал и привёз дедушке пустой сундучок. И рассказал друг, что Василий погиб во время взрыва бомбы в одной из архангельских чайных, куда ходил обедать. Вот, Василий Иванович, и тогда ведь были террористы! Погоревали, погоревали, да делать нечего, не поедешь, не узнаешь — такое время было.

Бабушка вскоре умерла, и остался дедушка с семнадцатилетней Юльей, да в пустом доме, но и дом бы отобрали и дедушку бы сослали, но нашёлся Юлье жених “бесспортошник” Демичев. Был он заядлым комсомольцем, разорял церкви, митинговал, за что был у власти в чести.

Так скрепя сердце дедушка принял в свой дом Демичева, но сердце не выдержало всего этого, дедушка умер скоро. Так и жил Демичев в доме дедушки, было у них с тётей Юлей пятеро детей, в войну тётя Юля сумела всех детей сохранить. Теперь ей 93 года, и живёт она в Никольском у старшей дочери Зины. А Зина тоже труженица великая, проработала в Никольской больнице почти 50 лет санитаркой и до сих пор работает там, а про тётю Юлию пишет, что она ещё кружева плетёт. Остальные дети тёти Юльи — кто в Вологде, в Соколе, в Заднем селе.

А Демичев был на курсах зоотехников, ходил по волости в штанах с кожаным задом да в кожаной тужурке, тётё Юлье совсем не помогал. В войну погиб в Карелии.

А тётя Александра замуж вышла удачно, удачно уже тем, что дядя Александр, муж её, был инвалидом, горбун. В армию его не взяли, был он бесшумным бригадиром в колхозе до 53-го года. И была у них единственная дочь Мария, жили богато, и в войну не голодали, а обогащались, считай, со всей бригады в их дом всё добро перекочевало за бесценок: за фунт муки или килограмм картошки отдавали голодные люди всякие вещи. Мама моя так перетаскала им всё, вплоть до стаканов. Всегда они сидели в доме, как в крепости, под запорами, никого почти в дом не пускали.

Однажды мне случилось погостить у них в 72-м году. Стариков уже не было, дети Марии жили в Вологде и что-то в том году не приехали косить сено. И вот Мария пригласила нас с мужем. Погостили мы у них две недели, помогли с сенокосом, поставили пять стогов сена и три стога клевера, “отдохнули”.

И всегда вторая половина летней избы была заперта. Но случайно муж Марии дверь не запер, и она открылась. И я увидела чудо. Две стены буквально сияли от множества икон, кажется, в церкви не было столько. Жили они в деревне дольше всех, цеплялись за богатство, но и трудились крепко. Всех ограбили, всех из деревни выжили. И считали городских жителей лентяями, презирали. Но и их судьба не обошла. Подкатила старость, болезни.

В деревню стали наведываться из лесу кабаны, губили картошку, да и боязно стало жить одним с богатством. За большие деньги купили дом около Вологды, в Прилуках, кажется. Говорят, что плачут там, домой охота, никак на новом месте не привыкнут. Может, теперь и поверили нам, грешным, как хорошо-то “лентяям” в городе.

А ещё, Василий Иванович, была у нас бабушка Глафира, тётя мамы, сестра дедушки Ивана Королёва. Её я хорошо помню. Была она замужем за Николаем Соколовым, и был он каким-то волостным начальником, знался и с районным начальством, и из других волостей. Это до революции дело было. Детей у них не было, хозяйство большое. Глафира хозяйничала по дому, а Николай разъезжал в тарантасе по делам. Держали работников, батраков. Их земли так и до сих пор называют поля Соколова.

Но вот один случай расскажу я Вам, Василий Иванович, из их жизни, конечно, со слов мамы. Возил Николай свою Глафиру в Никольское к врачу. И пока ходил по делам да по знакомым друзьям, подошла очередь Глафиры на регистрацию к врачу. Её спрашивают: “Как фамилия?” А она и не знает. То ли в самом деле фамилию свою не знала, она ей была ни к чему, у печки-то возиться. А может, она не знала слово “фамилия”. И молчит. А её опять спрашивают: “Может, хоть прозвище какое есть у вас?”. А тут Глафира и говорит: “Да, дразнили меня раньше Глафира-дыра”.

Ну, и записали Глафиру Дырой.

Пришёл Николай, а Глафиру вызывают на приём к врачу: “Дыра Глафира”. Вот тут-то и схватился за голову волостной начальник, да бежать из больницы. А и врач-то был хороший знакомый его, позор, да и только. И поругал же он свою Глафиру, а не сам ли виноват? Вот ведь какие были тёмные люди. Да, жили — не тужили и без грамоты.

Это я, Василий Иванович, вспоминала родных по материнской линии. А теперь и по отцовской линии.

Бабушку, Александру Горушкину, я не помню, умерла она рано, а дедушку помню хорошо, он умер в конце 43-го с голода. Жили они в Ермолино, считались середняками и было у них пятеро детей: три сына и две дочери. Дедушке перед войной было уже за 70 лет, но в колхозе он всё ещё работал, выращивал огурцы на колхозном огороде. И был он ещё заядлым рыбаком, грибником.

Отец мой, Василий, был старшим сыном в семье, и после того как женился, отделили его, выстроили новый двухэтажный пятистенок, дедушка хотел жить с ними, но мама почему-то воспротивилась, и дедушка остался в своём доме со средним сыном Вячеславом, а после смерти нашего отца, ког-

да нам было нелегко, всегда упрекал маму, что она его не взяла к себе жить. Отец же мой, тятя, был 1900 года рождения. И вот ведь тятя и мама были совсем разные по характеру люди. Тятя был очень добрым человеком. Бывало, никто из нашего дома не уходил голодным. Будь это родственник, чужой, нищий — отец всех велел кормить, а кормить всегда было чем. Сусеки всегда были полны, да и на полу, в верхней избе, помню, лежали вороха разного жита. Был он весёлым человеком, да и братья его тоже были такие же, любил читать, очень был грамотным человеком, хотя и кончил всего три класса церковно-приходской школы. Работал он в колхозе кладовщиком, ходил с портфелем под мышкой, тяжёлый был тот портфель, да и ключи-то амбарные раньше были весом около килограмма. Часто летом брал меня, кроху, с собой, чтоб мама меня без него не поколотила, говорил.

Ох, Василий Иванович, ручка-то моя ничего не пишет, а стержней днём с огнём не найдёшь в Ивановской. Хорошо, что сохранился чернильный карандаш со сталинских времен, придётся его развести на чернила, и пенал есть с ручкой и пером — не пропадём.

Женщины в соседних бригадах давали мне гостинцы, тятя шутил с ними, а мама говорила, что у него везде подружки. Последнее время тятя работал в Королихе продавцом, но тяжело заболел, в наше время сказали бы, что у него был рак, а тогда этой болезни не знали, тятя совсем ничего не ел, лежал семь месяцев в постели. Возили его к врачам и в Устье, и в Сокол, но бесполезно, и умер он в 37 лет.

Осталось у нас четверо детей. А всего было у отца с мамой шестеро детей: пятеро сыновей и одна дочь — я. Два мальчика умерли до моего рождения, и последний, Коля, умер уже после смерти отца.

Второй сын дедушки, дядя Славко, был в колхозе бессменным молоковозом. Летом он возил молоко два раза в сутки и один раз в сутки зимой. Забирал молоко на колхозных фермах и у колхозников за налог государству. Бывало, он останавливался в деревне и кричал: “Молоко, молоко несите!”. И все спешили к нему, а он взвешивал молоко на безмене и записывал в “молочную” книжку, кто сколько сдал молока, а обрат привозил и делил для всех. Дядю Славу убили в начале войны, было от него только одно письмо.

Тётя Августа, жена его, хранила это письмо и портрет дяди Славы и велела всё положить к ней в гроб, что и сделали. Остался у них сын Серёжа 1933 года рождения. Тоже добрый и весёлый, да ещё и гармонист. Из всех моих родных он один теперь остался в Томаши, тётя Августа держала его около себя всю жизнь, не гнала его в город, и это теперь моя ниточка на мою Родину. Судьба и Серёжу поломала, конечно. Старый дедушкин дом на Ермолине совсем обветшал, и Серёжа выстроил себе небольшой дом на Лобанове, но семья росла, и он купил в Кузьминском старую школу и перестроил её. Но там, в праздник, пьяный сын нечаянно поджёг сено, и дом сгорел. Серёжа купил себе дом в деревне Крюково — это всё в нашем ещё колхозе. Но работать стало негде, нет фермы, нет школы, нет магазина. Теперь же Сергей живёт опять в новом доме, опять строил сам его, на месте бывшей больницы, то есть на Лединке. Пишет, что близко соседей нет, никто ему не мешает, и он никому, кругом благодать, близко Королиха-центр.

Младший брат отца, дядя Санко, он работал до войны кузнецом, был женат, было трое детей. Он один из всех деревенских мужиков вернулся с войны цел и невредим. Но уехал в село Заднее в МТС, потом в Устье. Умер дядя Санко на Кубине, на рыбалке. Нашли его на берегу мёртвого — инфаркт.

Тётки же мои, Вера и Анна, тоже разъехались кто куда. Анна умерла недавно в Новошахтинске. Вера живёт в Устье у младшего сына. У Веры перед войной было двое детей, а была она замужем за Афанасием Смирновым из Починок, сыном тамошнего председателя колхоза. Дядя Афанасий служил в армии Власова и в начале войны, как говорили, “пропал без вести”. Но, побывав на Родине в 72-м году, я узнала, что дядя Афанасий будто бы жив. И находится он где-то в архангельских лесах, в лагере. Будто бы эти эки строят сверхсекретные объекты, а откуда известно стало — была такая версия: для какого-то дела был послан на Большую землю один зэк с охранником, а когда вернулись назад, то лагеря не было, всё сравнивали с землёй, буд-

то американцы чего-то разнохали, и лагерь, и объект пришлось уничтожить.

Эти два человека вернулись к людям, и вот так мы узнали, что в то время дядя Афанасий был ещё жив. Но, может, это и просто байка.

А тётю Веру склонил в голодные годы к сожигательству свёкор-председатель. От него она родила сына, у которого и живёт теперь в Устье.

### Прости тебя Господь, мама...

Я уже писала Вам, Василий Иванович, что мама моя была полной противоположностью отцу. Была она сердита почти всегда, особенно без отца. С людьми, да и с нами разговаривала мало, наказывала нас ни за что ни про что. Жалела больше старшего из нас, Василия, а младший, Коленка, родившийся в год смерти отца, так и умер, совсем без ласки и присмотра. Плакал, плакал в своей зыбке, да и затих. Ах, мама, мама, прости тебя, Господь. В войну выменяет когда что-нибудь поесть, то прятала всё от нас с братом, а мы найдём да съедим; Василий был уже в армии. И драла же она меня за это. Да, и дерзка я была на язык, и поделом была порота. Выгонит, бывало, на мороз босую, а я наверх, да в сено заруюсь и сижу, да ещё напорет, как приду. И всё повторяла: “Ах, как бы вас у меня не было!”. Ровно мы виноваты, что есть на свете мы. В колхозе или в сельсовете в войну иногда немного кое-чем помогали солдатским семьям, а то, что наш брат воюет — это не считалось, отец-то умер до войны; помощи нам не было, мама сердилась: “Кормить не буду”. Работать в колхозе не старалась, сказывалась больной, так и проели мы всё, что нажито было, и её приданое в том числе. Когда я была уже замужем, работала ткачихой, и было двое детей, и маленькая комнатка в коммуналке — мама написала, что парализована, и просила взять её к себе. Мы с мужем, не раздумывая, поехали на родину и взяли маму к нам. А было ей 55 лет. У нас она поправилась, болезнь отошла, пенсию получала 12 рублей. Потом ещё пошла на работу в фабрику дежурной в комнату гигиены, где и проработала 15 лет и заработала пенсию 32 рубля. Но когда стала работать, жить с нами не захотела, дали ей комнату в коммуналке (мы тогда уже жили в новой благоустроенной квартире), жизнью мама была довольна да вдруг решила уехать к сыну Василию в Бобруйск. Не прожила там и года, переехала к сыну Фирсу в Череповец. А тот через полгода пишет мне: “Возьми маму, жизни нет, хоть давись, одни скандалы с женой”. И опять я поехала за мамой, взяла её к себе, но и со мной она жить опять не захотела, вот характер, Господи. Добилась я для неё отдельной комнаты. Стала мама жить одна, плела кружево, продавала, да пенсия, да я, конечно, помогала, да при прежних ценах, когда буханка хлеба стоила 14—18 коп., мама была довольна, не зависима ни от кого, да уж и старость, да опять её парализовало, ну и дала она мне “жизни” последние полгода перед смертью. Кричала день и ночь, всё у неё были разные требования и желания, и до того меня замучила, что я была вынуждена взять расчёт на фабрике за два месяца до ухода на пенсию, не спала я совсем и так вымоталась, что качало.

Но всему приходит конец, мама умерла, я была убита горем, жалко её до сих пор. Ах, мама, мама, прости меня, ведь грех плохо говорить о покойных, прости. Брат мой, Василий, с 1925 года рождения. Вот, Василий Иванович, сколько у нас Васиных-то в роду: отец, брат, дядя, племянник, да мил друг мой был ещё Вася...

### О себе и о братьях моих расскажу...

Перед войной брат окончил семь классов, и решили они всем классом подать в Вологду в медтехникум, да что-то ни один из них туда не смог поступить. Поработал брат в колхозе помощником счетовода и в 40-м году поехал с другом в железнодорожное ФЗУ в Кандалакшу. Денег надо было на дорогу, да и потом мама деньги ему часто посылала, а для этого продавала хлеб-зерно, что ещё отец запасал. И эта её доброта по отношению к брату

нас в войну совсем подорвала. Началась война, брат попал в офицерское училище и кончил войну в Германии в чине капитана. После войны брат служил в Бобруйске, где и умер недавно от рака желудка. До смерти мамы он нас не навещал совсем и маме письма не писал, потом был на похоронах мамы в 80-х годах. Ко мне приезжал потом в гости ежегодно, царство ему небесное, пусть земля ему будет пухом.

А вот я и чернил навела из карандаша, да писать ими боязно — как бы кляксу не поставить.

И ещё я расскажу Вам, Василий Иванович, о младшем брате моём Фирсе. Вот это труженик поистине великий. Хватил в детстве вместе со мной голода и холода, но после войны попал в ФЗО в Соколе, выучился на плотника, а после армии уехал в Череповец, там окончил заочно техникум и проработал до пенсии бригадиром в сталепрокатном цехе. Попутно получил права шофёра и механизатора широкого профиля. Жил он с женой и сыном в Заречье на Архангельской улице. Выстроил себе дачу с колодецем, гаражом, кессоном. Но, уйдя на пенсию, в Череповце жить не захотел, а стал подыскивать себе дом в деревне. Но дома все старые и дорогие, и решил он себе построить новый дом. Так и нашёл он себе пристанище на 150-м километре железной дороги Череповец—Ленинград. Есть там такой полустанок Ольховик. Говорит, что место прекрасное, курортное. За три года выстроил он там себе новый дом, баню, колодец, гараж, вырыл пруд, скотину развёл, и всё это на месте леса. Живут они там с женой, и дети с внуками приезжают из Череповца. Зовёт меня в гости, да я-то уж совсем теперь никуда не ездук. В последнем письме пишет мне: “Занимаюсь иногда бартером — меняю руки на сало и на всё другое”. А руки-то золотые ведь у мужика: он и механизатор, и плотник, и столяр, и кровельщик, и печник, и садовод, да всего и не перечислить, что он умеет делать.

А вот и о себе я Вам расскажу. Родилась я в 1930 году. Отец умер в 37-м, так и кончилось моё детство. В школу пошла в шесть лет. К этому времени умела читать и писать, брат Василий учился в пятом классе. Знала много стихов наизусть, наизусть был уже выучен букварь. Бывало, брат учит, учит что-нибудь, а я ему подсказывать начну, он разозлится и тумакот мне надаёт, а я нарочно ещё реву и подсказываю, а тут ещё и мама наколотит. Вообще бита я была в детстве каждый день, и не один раз. Да и поделом. Такая была дерзкая девка, что беда. Мне наколотят, а я убегу на Лобаново к тётке Юлии или к какой-нибудь своей подруге, да домой неделю не являюсь. Потом приду, а мама вроде бы и рада, что меня не было. В школе я училась хорошо, всё помнила со слов учительницы, а уж читать я так любила, да и до сих пор читаю много. Помню, отец тоже любил читать, видно, во мне это по наследству. И где только он брал книги, ведь их раньше в деревнях совсем не было. Как-то попала к нам в дом книга “Путешествие Миклухо-Маклая”, все мужики в деревне читали её по очереди. А ещё, за неимением газет, был оклеен потолок у двери в нашей зимовке книгой “Красный Корсар”, вроде бы Д. Дефо или Ф. Купера. Так я забиралась на стол, задирала голову, подбирала страницы, конечно, через страницу, и читала, пока шея не болела. А в школе в начальной перечитала всю библиотеку несколько раз. А потом уж, в семилетке, библиотека была побольше. Все сочинения, диктанты, изложения писала только на “отлично”. Учителя пророчили мне быть учительницей русского языка и литературы, но судьба сложилась иначе. Ах, уж эта война!

Война началась, когда я перешла в пятый класс. Семилетка была у Благовещенья, это километра четыре по прямой, а зимой шли в распутицу километров восемь в обход через деревни. Два года учёбы были пропущены. Ходить в школу было не в чем, да и ноги не тянули с голоду. В школе кормили обедами, это половник какой-нибудь мучной болтушки, да и в этом опять нам с братом было отказано всё по той же причине: “Отец не воюет”. Когда умер отец в 37-м году, по малолетству и глупости своей, эта потеря не казалась нам очень уж страшной, но в войну мы это почувствовали очень. Надо было работать в колхозе. Ох, какой только работы было не переделано моими руками? Только что не ходила за плугом, на это не было сил. А



уж навозу-то было сколько перекидано, постоянно в жиже навозной босиком, побороно землечки, пополото, покошено, погребёно сена, порвано льна. А на лошадях-то поезжено, а ведь было всего одиннадцать лет, как война началась. Часто приходилось работать за маму. Женщины, видя это, маму часто ругали, а она меня наказывала, била, чтоб я не жаловалась, да ведь ничего не скроешь. Работала мама два года сторожем на скотном дворе, навоз приходилось убирать часто мне, и я эту работу делала добросовестно, было чисто на дворе, доярки меня хвалили, а маму ругали, и мне за это опять часто попадало. Утром же рано-рано мама посылала меня в поскотину за лошадь, если предстояло на ней работать. А лошади, видя, что ребёнок пришёл, не давались, старались укунить или лягнуть, а одна лошадь была такая вредная, как увидит, так зубы оскаля бежит на меня. Вот я и стою да плачу, пока кто-нибудь из взрослых не придёт в поскотину и не поймает мне лошадь, а маму опять бранят за меня, а мне опять дёра.

А одно лето я пасла колхозных телёнок, да и пропала одного телёнка, а может, телёница просто обесчиталась, но мама вечером послала меня искать его.

Дело было уже в начале октября, утром и вечером было холодно. А я босиком, на траве появился иней, да такой холодный, колючий. А я хожу, хожу по лугам, полям, в перелесках — нет телёнка. Ноги мои замерзали, так я присяду, натяну на пятки свою юбочку, погрею и опять хожу, плачу. Телёнка так и не нашла, пришла домой, уже темно, мама ничего не сказала, и я забилась под шубное одеяло. А то ещё по два лета подряд я была приёмщицей молока у доярок, это в 12—13 лет. Грамотнее человека, видно, в бригаде не нашли — мужики воюют. Нужно было принимать молоко, взвешивая ведра на безмене, утром, вечером, и ездить с флягами в поскотину. Лучших лошадей угнали в армию, остальные — на полевых работах, а мне сначала выделили чалую кобылу по кличке Славнуха. У этой Славнухи одна нога не гнулась в колене. А в лесу-то пни, корни, коряги на дороге, она, бедная, запинается, падает на колени, мне её жалко до слёз, а ехать надо. А потом дали лошадь с огромной грыжей на боку. Её звали Сушкой. Так та просто ложилась в оглоблях. Едет, едет и ляжет, а я стою и реву над ней. А фляги-то такие тяжёлые были для меня. Да и молоковозчица Парусова из Матвеево оказалась воровкой. Принимала у меня молоко, не взвешивая, а потом оказалось, что большая недостача. Хорошо, что я ещё малолеткой была, а то бы посадили в тюрьму.

Огромное желание было учиться, и всё-таки семь классов было окончено, по тем временам это уже достижение, а дальше? Нужна одежда, нужны деньги. Откуда? Пошла в восьмой класс, это уже в Устье. Сначала давали хлеба 700 грамм, потом отказали, как дочери колхозницы. Жили в общежитии, в кельях какого-то монастыря. Темно, сыро. Заразилась там чесоткой, учёбу пришлось бросить, и опять работа в колхозе за пустые трудодни.

## В люди

Кончилась война, но улучшения в жизни не было, постоянно хотелось есть, а тут погнали молодёжь из колхозов в ФЗО. Для восстановления разрухи, как будто в колхозах разрухи не было. Из нашего колхоза назначили троих в ФЗО в Сокол. В числе троих была и я. Проходили комиссию в Устье. Медкомиссия меня забраковала — мал вес.

Вернулась домой, мама ругается. А было это в конце 45-го года, а в феврале 46-го года послала меня мама в Устье попросить мои документы на получение паспорта, которые остались в исполкоме.

Испекла она мне лепёшки из муки и клевера. Есть можно. Вышла я из дому в обед, а к вечеру была в селе Заднее у дяди Санка, там работавшего в МТС. А вьюга и мороз страшный, дядя меня уговаривал вернуться домой, но я боялась гнева мамы и утром направилась в Устье.

В дороге ни одной живой души мне не встретилось, волки меня не задрали, дошла благополучно, и, на мое счастье, в исполкоме начальства не было, были где-то на сессии, и молоденькая секретарша без расспросов на-

шла мои документы на получение паспорта, предназначенные для ФЗО. Ура!

В паспортном столе сказали, чтоб за паспортом зашла завтра. Пошла на ночлег к тётё Ане, работавшей уборщицей в портновской, но она сама жила тут же в цехе, за ширмой, и места мне не нашлось. Тётя Аня спросила меня: “Дала ли тебе мать поесть?” И когда я сказала “да”, тетя Аня съела обе мои лепёшки.

Приютили меня чужие люди, покормить было нечем, но и на том спасибо. Назавтра я получила паспорт, а тут и оказия — приехали от нас с Томаши в Устье за почтой и меня с собой увезли. К дяде Санку я уже не зашла, но тетя потом говорила, что дядя метался и даже плакал, думал, что волки меня съели, а потом ругал маму всякими словами. А куда с паспортом? Из дому идти не хотелось, и дома жить не было возможности, надо уходить. Горе горькое. Жил в то время в Подгорье сапожник Павел Смирнов. Был он когда-то другом отца моего, вместе ходили с ним “в работу” сапожничать. И вот мама понесла к нему заготовки, чтобы сшить мне сапоги. К нему в это время пришла из Харовской дочь Кланька, в Харовской она работала в кружевной артели. А сапожник-то и говорит маме: “Собирай Райку, Кланька уведёт её в Харовскую и на работу устроит”.

Дня через три дала мне мама сто рублей, паспорт, обула я новые сапоги, зашла к Кланьке в Подгорье, а она закладывает в корзину пироги-подорожники: рыбники, налитушки. А отец её говорит: “Райку не оставляй, устрой на работу и покорми”. Ладно. На улице конец марта, тает, дни длинные. Засветло дошли до Харовской, не отдыхая, не поевши. Перешли железную дорогу и остановились у доски объявлений, Кланька куда-то ушла, я её в жизни больше не видела.

Прочитала я, что в Харовский Дом культуры требуется уборщица. Дом культуры оказался почти рядом, я зашла туда. Здание новое, одноэтажное, с зрительным и лекционным залами, большое фойе, много разных комнат, библиотека, гримёрная. И директор Куликов Павел Асафьевич. Вы, Василий Иванович, случайно не знали такого, он из какой-то деревни Харовского района? Он меня принял на работу с окладом 180 руб. в месяц и хлебной карточкой в 700 грамм на день. Больше ничего. Но и хлеб будет только через неделю, будто бы прежняя уборщица забрала его вперёд. Жить как-то надо. Спасли новые сапоги. Была грязь непролазная, земля оттаяла, и я стала ходить в свободное время на картофельные участки за Харовскую, чтобы нарвать прошлогодней картошки, пекла и ела тошнотики. Но это была еда получше, чем травяные лепёшки. Но время прошло, тошнотики кончились, остались 700 грамм хлеба и 180 рублей. 700 грамм съедались за один раз, и сытности не было совсем. Пыталась подработать, продавала билеты, если иногда приезжали откуда-либо со спектаклями, концертами (у кино был свой кассир). Получив зарплату 100 руб., сразу проедала, продавала в Харовской на базаре пироги, и стоили они 100 руб. Один пирог весом, может быть, грамм триста. 80 руб. оставляла на выкуп хлеба по карточке, те же 700 грамм. Есть хотелось всегда. А ещё больше хотелось домой, домой. Директор иногда отпускал, и я бежала домой со всех ног, босиком, лёгкая, как пушинка. Но дома мама была совсем мне не рада, есть было нечего, младший брат Фирс устроился пасти скот в соседнем колхозе, его там кое-как кормили. Сбылась мечта мамы — осталась она одна.

А в июле приехал в отпуск старший брат Василий, офицер (это был 1947 год). Отпускникам в это время выдавали сухой паёк на время отпуска. Мама приехала встречать его в Харовскую на лошади. Вёз он с собой много муки и немного масла, и мне муки оставил. Домой мама меня не взяла. На обратном пути Василий заехал ко мне и привёз подарок: туфли брезентовые и платё из маркизета, белое в голубой горошек, красоты необыкновенной! А тут и встретили меня харовские девчонки да поколотить хотели, говорят, я отбиваю у них парня хорошего, сына директора “Катушки”. А я и знать ничего не знала, только заметила, что какой-то мальчик всё гоняет на велосипеде по мосткам у Дома культуры — и вся любовь.

Брат Василий строго наказал бросить эту мою работу и уехать хотя бы куда-нибудь в ФЗО. А тут я увидела на столбе объявление, что требуются

девушки учиться на ткачих в Ивановскую область, и по такому-то адресу обращаться к вербовщику. Набралось нас человек двадцать девочек, поехали. В то время ехать до Иванова было долго. Была пересадка в Вологде, Данилове, Ярославле, Нерехте, везде сидели долго, хотелось есть. В Ярославле я не выдержала и на привокзальном базаре продала своё маркизетовое платье за буханку хлеба. Сытности не было. И ещё я очень беспокоилась, что меня опять забракуают и пошлют обратно. Была опять врачебная комиссия, и из двадцати человек меня признали самой худой, заморышем. Назначили усиленное питание. А какое? Выдали 1 кг в то время входившего в моду маргарина. Но через два дня его у меня украла.

Было хорошее общежитие, чистые постели. Хлеба 700 грамм, но кормили три раза. Утром 200 грамм хлеба и картофельное пюре. В обед 300 грамм хлеба, щи постные и картофельное пюре. На ужин 200 грамм хлеба и картофельное пюре. Но я, голодавшая столько лет, была всегда голодна. В конце 47-го года вместо картофельного пюре стали давать иногда кашу и хлеба по 1 кг. Стало посытнее, хлеб иногда оставался, прятали в наволочки под матрасы. Приходили санитары, хлеб отбирали, девушки, напуганные голодом, плакали.

Учёба мне давалась легко, меня хвалили и, вместо двух лет обучения, выпустили из ФЗО через семь месяцев. Сама виновата, не старалась бы. Надо было искать частную квартиру. Приютила меня уборщица из ФЗО. У неё я прожила три года, работала на фабрике, помогала ей по дому, в огороде, нянчила детей. Вскоре после моего выпуска из ФЗО отменили карточную систему. Напуганные голодом люди стали скупать хлеб, стояли за хлебом семьями, подменяя друг друга. Я одна. Простою, бывало, за хлебом часов десять подряд, и хлеба не достанется, надо идти на работу. Иногда хозяйка завернёт, бывало, пару картошин в газету — и вся еда. Жаловаться, просить что-то для себя я не умела.

Работала хорошо, станков мне всё добавляли, вешали мне на станки красные вымпелы. Зарплату получала большую, стала одеваться, маме иногда посылала денег — платить налоги. Жизнь становилась всё лучше, уже не было очередей за хлебом. Было огромное желание учиться, повторила 7-й класс в школе рабочей молодёжи. В свидетельстве одни пятёрки. А тут и появился мой будущий муж, моё несчастье. Ходил ко мне паренёк из соседней деревни, звал замуж, уговаривал, плакал. Работал он на фабрике смазчиком и был из многодетной семьи. Говорил, что буду учиться всё равно. Но какая уж там учёба. Прожила в семье три года — двое детей. Одна изба, а в избе семья из двенадцати человек. На фабрике работали только мы с мужем, остальные — кто где, на лёгких работах, и малолетки.

Василий Иванович, вообще-то, по моему многолетнему наблюдению, мне кажется, что ивановский народ очень ленив. Это, наверно, оттого, что живут около фабрик, около производства, и это их избаловало. Через три года дали нам комнату в коммуналке. А тут муж заболел туберкулёзом. Ездил по больницам, по санаториям. Я с детьми одна. На работу к 5 часам утра. Несу одного в садик, другого в ясли, с работы забираю домой. Но всё равно стало полегче, зарплату свекровь уже не отберёт и не пошлёт на работу голодной.

Ура! Муж подлечился, но вместо благодарности и помощи от него видела игру в карты, выпивку да, как ни странно, объяснение в любви. А какая уж тут любовь может быть? Я всегда уставшая, измученная работой, хозяйством, заботой. А тут ещё и мама пишет, что её парализовало, одна жить не может, и просит взять её к себе.

Я же получала медали, орден, почётные грамоты, почётные дипломы, почётные свидетельства, премии, и наконец, в 72-м году, нам дали благоустроенную двухкомнатную квартиру, где и живём с мужем до сих пор.

А муж и забыл про свою болезнь, как её не бывало.

## Дети

Дети — сын и дочь, росли здоровые, красивые и послушные, но пришлось и тут видеть горе. Сын после восьмого класса поехал учиться в Вели-

коустюгский речной техникум. Большой мужской коллектив. Ему шестнадцать лет. Кончил техникум, плавал штурманом по северным рекам, стал выпивать, бутылки на каждой пристани. Потом армия. Из армии пришёл домой и работал механиком на ткацкой фабрике. Выпивал. Женился на башкирке, купили им дом за 4000 руб. В то время 4000 руб. — деньги большие. Это теперь 1 кг колбасы 5000 руб. стоит. Ну и пошла в доме “весёлая” жизнь. Сын за стакан, башкирка за кружку. Выселили её от нас из посёлка в 24 часа. Слава Богу, детей не было. После сын женился на вдове с ребёнком, но пить продолжал, опять развод. Господи! Еле уговорила полечиться, чудом жив остался от этой пьянки и меня почти в гроб загнал.

В настоящее время сын закодированный по методу Довженко на два года. Около года спиртное в рот не берёт и пьяниц терпеть не может. Надолго ли? Я всегда в напряжении — не сорвался бы, Господи.

Дочка — умница, кончила десять классов и с отличием Каменинский кооперативный техникум. Работала товароведом в Керченском рыбном порту. Но, Василий Иванович, видно, уж и рыбы-то нет в Чёрном море, рыбный порт закрыли. Хотя турки рыбу ловят в виду города Керчи, а нам — запрет.

Дочка замужем, у них двухкомнатная квартира на третьем этаже. Но... нет детей, нет у меня внуков.

Да и жизнь в Крыму стала не лучше нашей. Дочка теперь работает кладовщицей. Да ещё и дома подрабатывает: пьёт, вяжет, ремонтирует часы, электроприборы. Может и ремонт квартиры сделать, и подмётку прибить к ботинку, прекрасно готовит, рисует хорошо, может работать парикмахером. Но вот несчастье — нет детей.

#### А теперь о душе

Ох, Василий Иванович, знали бы вы, что это такое — ткачиха. Есть такая поговорка: “Бог создал грача, а чёрт ткача”. Ткачиха всегда в движении, все восемь часов, в перенапряжении, в грохоте, в духоте. Человеку достаточно зайти в ткацкий цех, чтобы понять, что это ад.

В своё время обо мне писали ивановские газеты: “Её любимая работа”. Бестолковые люди. Во время нашей молодости источником жизни была работа. И если бы, по воле Божьей, я стала учителем, врачом, дояркой, да кем угодно — все работы были бы мною любимы. Я люблю делать любую работу. Люблю полоть в огороде, сажать, убирать. Люблю стряпать, люблю мыть и стирать. Всё хорошо, плохо только бездельничать. А уж дров-то повожено из леса на санках, летом на велосипеде (одно время у нас была квартира с печным отоплением).

Угробила я сама себя, Василий Иванович, и нечего кого-то винить. Теперь вот сижу дома, на пенсии, ноги совсем отнимаются, еле-еле хожу дома по стенке.

Муж недовольство своё показывает, наверно, думал, что сто лет будет ехать на мне, а меня хватило только на пятьдесят. А уж сердце-то моё совсем отказывает, так что прожила день — и слава Богу.

Я уже писала Вам, что с раннего детства люблю читать, одна отрада теперь — чтение. Журнал “Север” выписываю лет двадцать. Что-то давно ничего Вашего там нет. Каждый раз жду “Север” с нетерпением, как встречу с Родиной. Уж не бывать мне там больше, не поклониться родной Земле. А ещё, Василий Иванович, я вдруг вспомнила, как в 38-м году, когда разорвали дома и церкви, принёс брат Василий большую подшивку дореволюционных газет. А можно бы назвать, что журнал-газет. И назывался этот журнал “Дружеския Речи”. Издавался он вроде бы в Петрограде, а может, я чего и забыла, ведь было мне семь лет. Печатался он на тонкой глянцевой бумаге, страниц двенадцать было. Уж такие там печатались прекрасные рассказы дореволюционных писателей, а картинки! Помню рассказ, а может повесть, “Кондуктор Таранкин”, “Ограбление в Святую ночь”. Помню до сих пор содержание некоторых других рассказов, но авторов и названия рассказов забыла. Были портреты царственных особ. Например: “Августейшие наречён-

ные великая княгиня Александра Александровна и принц Вильгельм Шведский”. Она такая русская красавица, а швед худой и прямой. Печатались в этом журнале разные советы, объявления, и, наверно, в то время была война в Палестине — “К событиям в Палестине”.

Может, где-то в архивах до сих пор сохранился этот журнал, такой интересный.

А теперь о душе.

Километрах в двух от нашей деревни в излучине Томаши было такое низкое, тёмное место, заросшее ольхой и ивняком. Косить туда добирались только в засушливое лето, и то там были одни кочки и ржавая вода между ними. Иногда поздно вечером на закате люди слышали оттуда какой-то крик или стон. Должно быть, кричала какая-то птица. Но места этого побаивались, говорили, что там нечисто, пугает. Но мы, дети, туда иногда ходили за смородиной, и как будто давно-давно там кто-то жил, было такое ощущение. Но вот по прошествии стольких лет я думаю, что это там летала и плакала чья-то душа. Билась и стонала душа и жалела свою Родину. Не так ли будет и с моей душой? Ведь и при жизни ещё я, а душа моя Дома, Дома. А Дома-то уже и нет.

Ах, Василий Иванович, Вы в одном рассказе как-то писали, что в детстве человек часто бывает на краю гибели, об этом не задумываясь. А сколько таких случаев было со мной в детстве. И большинство по вине мамы, прости её Господи. Летом, когда поспевают грибы и ягоды, она посылала меня в лес одну. Весной по насту я возила дрова на санках. А волков-то было столько, что и в деревню заходили. Соседки маму ругали, но она за то ещё больше ожесточалась на меня. А та дорога в Устье за паспортом в пургу, в метель. А дороги из дому в Харовскую и обратно — глухими лесами. А то был ещё и такой случай: летом, поздно уже, и роса села, косить ещё не разрешали. А мама взяла косу и велела мне догнать её в лесу, но чтоб меня никто не видел. Но увидела соседка Анфиса и спросила, куда это я на ночь глядя иду? Я не ответила, мама не велела. Найдя в лесу полянку, мама велела мне лечь спать под кустик и спросила: “Не видел ли кто тебя?” Я сказала: “Видела Анфиса”. Тогда мама прогнала меня домой и сама вскоре пришла. Зачем она водила меня в лес? А то один раз на базаре в Харовской я купила себе с полочки пирог за 100 руб. Тут же съела его, хотя он показался мне немного горьковат. Минут через двадцать меня начало тошнить, ужасно заболела голова, я потеряла сознание. Должно быть, пирог был с какой-то травой. Потом началась рвота, и это, видно, меня спасло.

И опять я осталась жива.

### Злые люди

А люди-то в войну и после стали злые, какие-то ненавистники. Взять хотя бы ту же Кланьку Смирнову, которая увела меня из дома в Харовскую. До войны, бывало, где меня встречала, то целовала и обнимала, жалела, что у нас отец умер рано. А тут привезла меня, где я сроду не бывала, и бросила, хоть умирай.

А ещё хочется мне рассказать Вам об одном человеке из нашей деревни. Фамилия его была Моликов. И был он дядей моего отца, то есть братом моей бабушки Александры. До войны, помню, очень дружил с отцом, ходил ловить рыбу на Кихть, помогали друг другу в делах. И дом их стоял напротив нашего, через дорогу. Оба дома были, как два близнеца, большие, светлые. И было у Моликовых четверо детей: сын Санко и три дочери. Младшая Анка была мне ровесницей, была она с детства парализована, еле двигалась, но была злока ужасная. Санко же кончил перед войной медицинский техникум в Вологде и погиб в первые дни войны в Карелии. Старшие две дочери до войны вышли замуж в деревню Крюково, но в войну вернулись домой, к отцу, где посытнее было. Так вот Моликова в войну в армию не взяли, было ему уже под 60 лет. Был он в округе первый забойщик скота, прекрасный печник — во всех учреждениях, в школах, да и в домах, все печи были им

сделаны. Он и плотничал, и кожи дубил. Ну а уж пьяница был и драчун ужасный. Идёт, бывало, с работы, и далеко слышать, как песни поёт:

*Пить будем и гулять будем,  
А смерть придёт, помирать будем.  
А смерть пришла, меня дома не нашла,  
Смерть застала в кабаке  
С поллитровкой в руке.*

Домашние прятались от него, он буянил, кидал вещи, кричал: “Пока я жив, квашне не будет выходного”.

И правда. Жили сытно, не голодали. Хлеб в доме у них был всегда всеми правдами и неправдами. Бывало, весной или осенью поедет в поле сеять. А сеяли-то вручную, из лукошка. Привезёт к своему дому несколько мешков ржи, например. Два рассеет, а три мешка себе оставит, а весной рожь “вымокнет” или “вымерзнет”. Приходил к нам в дом и у мамы спрашивал, видела ли она его проделки. А мама всегда говорила, что ничего не видела. И чем он её тогда запугал? Мы с голоду умирали, и так его мама боялась. А когда наш отец умирал и мама плакала, то Моликов обещал нам помогать. Бывало, когда хлеб с поля убирали — и в телегу, осыпалось зерно, мама наметала в карманы, но когда несла домой, то дочери Моликова её встречали и проверяли, выворачивали карманы, грозились сказать председателю Мухину.

И был у меня с Моликовым в войну случай один. В дождливое лето картошка в нашей деревне не уродилась. А в то время нужно было гнать колхозный скот на мясоналог в Устье. А Мухин-председатель внёс такое предложение: “Сдать своих телят в колхоз за картошку”. Так и сделали. Моликов сдал свою упитанную тёлку, а мы своего бычка Петьку, заморыша. Пришёл Моликов к маме и говорит: “Завтра рано скот погоним в Устье, так и твоя Райка пусть поможет нам”. Мама меня собрала. Пригнали в Устье скот, и тут же его на весы. Когда очередь дошла до Моликовой тёлки, он и говорит: “Это моя. Квитанцию пишите на моё имя”. А я, дурочка малолетняя, и высунь свой язык: “Так ты её ведь за картошку сдал в колхоз”. Весовщица остановилась. А Моликов на меня бросился, как зверь. Ругал, топал, что я сопля и ничего не знаю. Квитанция была выписана на него, и не одна. Несколько голов скота были “его собственные”. И всю войну так было. Как сдавать скот от колхоза, то у Моликова полный кошелек “собственных” квитанций. А потом этими квитанциями он торговал. Драл шкуру с вдов и солдаток. Но в тот раз я его здорово подкузьмила. А ведь делал он это, наверно, сообща с приёмщиками скота. В тот вечер была стужа, уже октябрь на дворе, надо было ночевать в Устье. Обычно ночевали на окраине Устья, где принимали скот. Моликов велел мне идти на ночлег, но когда я зашла в дом, то затолкал меня в тёмную комнату и запер. Долго за стеной слышала спор его с приёмщицей, но слов было не разобрать. Около полуночи он вытащил меня из этой комнаты и гнал палкой до леса. По лесу я плутала до утра, было холодно, озябла, потеряла свои рукавицы, к утру вышла на большую дорогу. А тут и подвода меня подобрала, и я опять осталась жива. Потом Моликов приходил к маме, справлялся обо мне, думал, что я уж и не жива, что и хотелось ему. Просил маму, чтобы я молчала, и угрожал. В тот раз опять у него всё сошло с рук, но на другой год он всё-таки попался и отбывал принудительную работу. Вообще можно сказать, что и не пострадал, только уже скот сдавать ему было запрещено.

#### Любовь моя несчастная...

А ещё, Василий Иванович, пришла пора мне Вам рассказать и о милом моём дружке, моей постоянной жалости. Да, ведь у нас раньше и не говорили, что люблю, а говорили — жалею.

Жила рядом в соседней деревне Лобаново семья Исаковых. Отец Алек-

сей Васильевич — кузнец, пчеловод, мать Вера Ревокатовна тоже в колхозе работала. И был у них ещё дедушка Ревокат, бывший церковный староста, раскулаченный. Ходил по деревням и нанимался шить сапоги. Сапожник был прекрасный.

Двое детей было в этой семье. Один — Донат, Донька, ровесник моего старшего брата Василия. Вместе они уехали в ФЗО. Доньку убили в войну. И Вася. Милый мой Васюнька. Мать их Вера всегда относилась ко мне по-матерински. На колхозных работах всегда, бывало, подскажет, научит, всегда ставила на любой работе рядом с собой. А Васюнька с 27-го года рождения. В войну-то ребят не было в деревне, он первый парень. Все девки за ним гужом, а он глядел на меня, на такую замухрышку. Собиёмся в деревне играть в лапту, девки взрослые нас, мелюзгу, не берут. А он велит меня брать. В ручеёк играем, обязательно выберет меня, дёргает за юбочку. Пойдёт провожать какую-нибудь девку с гулянья, а мне скажет, чтоб я скорее росла. А с чего расти-то? Взяли в армию его в конце войны. Кончилась война, и вдруг мне от него письмо пришло, да ещё и пишет, что любит. Ах, Господи. А я всё такая же и не расту совсем. Приехал в отпуск, что же, говорит, я ведь думал, ты выросла. Потом как-то ещё изладилось с ним приехать в отпуск вместе. Я уже ткачихой была и подросла, на девку стала похожа. Были встречи — чистые, нежные. Договорились переписываться, но вскоре я получила с Родины письмо, что Вася демобилизован и привёз из армии жену... Я и вышла замуж через три месяца! А через месяц после замужества получила от него письмо с просьбой приехать домой на Ведынь, чтобы пожениться... Ах, Васюнька, Васюнька, да где ты был раньше? Милый мой дружок. “Какой бы парой мы были, мой милый, если б не было войны”.

Бывало, наберёт в лесу ягод шиповника, сделает бусы на травинке и вешает мне на шею. Такой большой парень, а я ему по грудь ростом.

*Ох, как бы старая любовь  
обратно воротилась,  
Всю бы дочку во садочке  
Богу промолилась.*

В 52-м году приехали мы с мужем в гости к маме, и Вася с женой приехал из Сокола. Мы с его женой обе на последнем месяце беременности. Спросил меня про письмо, и не хочу ли я домой? Домой я хочу всегда, всю жизнь.

#### **О многом хотелось поговорить с Вами, Василий Иванович...**

А частушек-то я знаю, Василий Иванович, наверно, не одну тысячу. Тут и старые довоенные, и про войну, и новые. Как-то дежурила я в молодёжном общежитии и от нечего делать в ночное время решила записать в блокнот. Записала тысячу. Из них около двухсот про гармонь и гармониста. Послала их в Москву, в отдел народного творчества “Играй, гармонь”. Не знаю, получили или нет. Потом и ещё вспомнила частушек, наверно, столько же, да уж писать ещё и посылать нет охоты. Кому это надо? Пусть умирают со мной вместе. Людям не нужны частушки, а надо напиться водки, наесться колбасы от пуза да помитинговать. Иногда поглядишь по телевизору, как какая-то пьяная баба орёт и прёт напролом, так и хочется ей по роже размазать плёткой.

Извините, вот это уж я, кажется, полезла в политику, а с политикой у меня отчего-то всегда появляется злоба на нынешний строй да на недавнее прошлое, ко всем этим демократам-перевёртышам.

Да, Ивановская область объявлена областью экономического бедствия. Текстильная промышленность пришла в совершенный упадок. Фабрики стоят, нет хлопка. Рабочие или в отпусках бессрочных, или в расчёте. Хорошо ещё, что пенсии нам выдают вовремя, приходится кормить старым людям молодых. Да, ещё запасы есть кое-какие из одежды и обуви, так донашива-

ем. Для нас-то, стариков, хватит, а как молодые будут жить без нас, об этом и не задумываются.

Видно, недалёкого ума были и предки нынешних текстильщиков. Понастроили фабрик там, где хлопок не растёт. Уж перешли бы хоть на лён. Учить не мне.

В государственных магазинах промтоваров нет совсем, особенно нет ситца. Кое-что можно купить только у спекулянтов. От нашей фабрики выстроили продмаг, продукты иногда выдают рабочим в кредит.

Зарплату на сей день задерживают за четыре месяца. И рабочие не очень-то горюют, гуляют себе. Не требуют себе работы, а требуют денег на гулянье. Ну и жизнь пошла, ну и народ, Василий Иванович, Вам надоело, наверно, читать... Кончаю.

Дай Вам Бог здоровья на долгие годы. Вам и всей Вашей семье, всем людям на свете. Не тратьте Ваше время на ответ. Да и жива ли я буду? Ноги мои почти отказались ходить. А сердце? В груди, наверно, черно.

Плохо написала, небрежно. Надо бы переписать получше, да боюсь, не хватит времени. И писать-то надо тайком от мужа, ведь всё равно ничего не поймёт, лишний раз выругается только.

Извините, Василий Иванович. Кончаю. Буду рада, если Вы прочитаете. Найдите время, пожалуйста.

О многом хотелось поговорить с Вами, Василий Иванович. Например, об особенностях нашего вологодского языка.

Ну кто, кроме нас, вологодских, поймёт, что слово “толенько” обозначает “очень”.

Например: я толенько устала, то есть очень устала. Или слово “лонись”, то есть в прошлом году. А ещё в наших местах пекли такие пироги: пресное тесто раскатывали, клали на него мятую картошку или какую-нибудь кашу, творог (в Ивановской области только творог), загибали края. Эта стряпня называлась в нашей деревне рогатухами, или рогульками. В Ивановской области их называют ватрушками или куженьками. А в Карелии или в Архангельской области это калитки. Тогда как калитку в наш огород в нашей деревне называли “полотенце”, наверно, от слова “полотно”, конечно, деревянное полотно. А полотенце — это “рукотерник”.

Как-то летом пошла я в Корашку и нарвала букет цветов.

В поле гудел трактор — пахали под зябь. Парень остановил трактор и говорит: “Ох, какие цветки баские, а вот там они ищю басше”.

Полунальто — это сак. Пескарь — плескач. Творог — глибки.

А как животных к себе подзывали: лошадь: “псо-псо-псо”, корову: “тпрукотко-тко, тпрукотко-тко”, телёнка: “тепте-пте, тепте-пте”, овец: “чака, чака, чака”, цыплят: “чив, чив, чив, чив”.

Ох, Боже, и смех и грех!

И всё такое родное, милое моему сердцу. Ничего подобного уж и не услышу больше.

8.VIII.94 г.

Вот какое длинное письмо получилось. На следующей неделе отнесу его на почту. Приму “допинг” и отнесу. А мой “допинг” — это обезболивающие таблетки. Приму таблетку — и острая боль переходит в тупую, так и до почты дойду, это совсем недалеко, через дорогу.

*Ираида*